

Ленин о двух культурах в России

Ленинская теория «двух культур» открыла шлюзы для вмешательства государства в культурную и, прежде всего, литературную жизнь страны, как русскую, так и любую другую национальную культуру народов Советской России. Это был курс на политизацию культуры и перенос марксистского понятия о классовой борьбе из узкой политической сферы на всеохватную культурную.

Ещё в 1913 году Ленин писал: *«Есть две нации в каждой современной нации... Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пушкинцевичей, Гучковых и Струве, – но есть также великорусская культура, характеризующаяся именами Чернышевского и Плеханова»*. Так идея раскола русской национальной культуры на два враждебных лагеря стала внедряться в головы «прогрессивной» общественности ещё до узурпации власти большевиками в Октябре 1917-го. Но, захватив власть переворотом и разогнав Всероссийское Учредительное Собрание, большевики вцепились зубами в органику культурной жизни России и продолжали терзать её до самого обвала СССР в августе 1991 года.

Во всех партийных документах, касающихся литературных вопросов, монистической концепции советской литературы, так называемый «социалистический реализм», проводилась как цензурными, так и чекистскими средствами. Она дала основание для определения типа советского государства как тоталитарного. Лишь введение гласности под напором открытых и скрытых диссидентов среди читающей публики подточило «Берлинскую стену» да и весь «железный занавес», который чуть не три поколения отделял советских людей не только от мира, но и от собственной истории и культуры.

«Философские пароходы»

Пожалуй, самым ярким, зримым и трагическим актом разделения культур была высылка Лениным «философских пароходов». На борту этих пароходов – и за бортом русской культуры на родной земле – оказались Николай Бердяев, Иван Ильин, богослов священник Сергей Булгаков, Валентин Булгаков (друг и последователь Льва Толстого), философы Николай Лосский и Лев Карсавин (последнего советские власти извлекли из оккупированной Литвы и отправили на ГУЛАГ, где он и умер) и сотни других.

Иван Бунин: Миссия Русской Эмиграции

«Философы» отнеслись к своему изгнанию философски: ведь сотни других «неудобных» власти были просто убиты или отправлены на Соловки. Они стали светочем трёхмиллионной русской эмиграции, состоявшей из белых воинов, солдат, офицеров, священников и учёных, казаков, калмыков и других инородцев. Изгнанники просветили весь мир осознанием масштаба Российской трагедии. В 1924 году выдающийся русский писатель и будущий лауреат Нобелевской премии Иван Бунин (1870–1954) провозгласил, что Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия.

Бунин продолжил: «В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского историка Ключевского (1841–1911): “Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампы над гробницей Сергия Преподобного и закроются ворота Его Лавры”. Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, ворота закрыты и лампы погашены. Но без этих лампад не бывает русской земле – и нельзя, преступно служить ее тьме».

Левый марш дома и за рубежом

Между тем, на улицах Москвы и Ленинграда революционные отряды, подзадоренные большевиками, продолжали скандировать магические заклинания:

Довольно жить законом,
Данным Адамом и Евой:
Клячу Историю загоним
–левой, левой, левой!
Ну а если кто-то шагнёт невпопад?
Дело поправимо!
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе!
Кто там шагает правой?
– Ваше слово, товарищ Маузер!

«Клячу Историю» загнали уже в 1921 году, когда восстали не «белые», а красные кронштадтские матросы и по всей стране полыхали крестьянские восстания. Через пару лет Маяковский, «лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи» (Сталин), упрекнул Сергея Есенина за (якобы?) самоубийство: «В нашей жизни умереть не трудно: Сделать жизнь – значительно трудней!»

И как в воду глядел: в 1930-м Маяковский сам покончил с собой. Или кто-то приказал «товарищу Маузеру» ещё раз шагнуть налево?

От инакомыслия до того берега!

Так случилось, что в 1962 году – не столько «по шучьему велению», сколько по моему хотению – я оказался на «том» берегу. Сначала в Швеции, потом в США. В статье-некрологе «Памяти Ильи Глазунова» я поделился своими воспоминаниями об учёбе на историческом факультете МГУ и о начале инакомыслия в стране в 1950-е годы. Кстати, имя художника Ильи Глазунова (1930–2017) здесь не случайно, ибо в 1959 году он был в чести среди инакомыслящих студентов МГУ именно потому, что впервые поднял русскую тему своими иллюстрациями к романам опального Достоевского, принадлежавшего, по Ленину, к реакционно-консервативному крылу русской культуры. А осенью 2019-го, побывав на «Камском берегу» в родной Перми, в интервью под названием «От Александра Солженицына к Михаилу Второму и Махатме Ганди» я несколько осветил и начало моей карьеры на Западе.

В Швеции: от Гётеборга до Лунда

Перед советским человеком, попавшим на Запад, первая и самая важная задача была получить убежище. Вопреки распространённому мнению, многие западные страны давали его не всегда и не весьма охотно. Свои мытарства в Швеции я уже кратко описал в 2017 году в статье «Жажда правды». А получив убежище, стоишь перед вопросом: на что жить? как и какую работу получить? И тут двойная задача: (1) адаптироваться к языку и культуре принимающей страны и (2) не растерять, а то и приумножить свою собственную русскость.

Прежде всего я постарался получить шведское образование. Моё советское образование как историк-этнограф здесь не пригодилось. Правда, моя дипломная работа в МГУ касалась книги последнего католического архиепископа Швеции – Олафа Магнуса (1490–1557), который после перехода Швеции в лютеранство оказался в изгнании в Риме. Там он и написал на латыни ностальгическую «Историю Северных народов». Позднее книга была переведена на шведский язык, и в дипломной работе я и дал оценку той её части, которая касалась России. Однако, поступив в 1963 году в Гёте-

боргский университет, я перешёл на лингвистику и филологию с расчётом получить работу преподавателя русского языка.

Мне повезло: после двух семестров в Гётеборгском университете открылась вакансия на преподавателя русского языка и литературы в Лундском университете. Я переехал из Гётеборга на юг Швеции, в Лунд, и сразу же попал в русскую стихию.

Предварительное окунание

Окунуться в эту стихию я успел ещё в стокгольмской тюрьме, куда меня поместили до решения вопроса об убежище. Когда охранники спросили, не хочу ли я что-либо почитать? «Доктора Живаго», – ответил я, ничтоже сумняшеся, ибо, хотя кое-какой самиздат я читал, будучи студентом МГУ, обычно это были перепечатанные на машинке страницы таких авторов, как Милован Джилас (1911–1995), дореволюционные издания Фридриха Ницше, непротивленческие памфлеты Льва Толстого да разрозненные страницы стихов Николая Гумилёва. О «Докторе Живаго» опального Бориса Пастернака мы и мечтать не смели.

А тут любезные шведы предлагают целую книгу! Правда, книга была в шведском переводе. Но я и этому был рад, надеясь убить сразу двух зайцев: и шведский подучить, и узнать о выживании духа живаго в советской литературе, в то время как многие из коллег врача Юрия Живаго, даже понимая, что происходит, предавались искусству «мимикрии», чтобы выжить. Доктор отмечал, что советские вожди любили щеголять русскими пословицами, кроме одной: «Насильно мил не будешь!» Меня поразило, как искусно Пастернак извлёк историю СССР из диалектических кувырканий экономики и классовой борьбы и вернул её на столбовую дорогу духовного роста и возмужания человека, по крайней мере, со времён Голгофы Иисуса из Назарета.

Очень кстати пришёлся и подарок от русской белоэмигрантки, которая приставлена была мне переводить на допросах, но вскоре убедилась, что – несмотря на отличное владение как шведским, так и русским языком – она совсем не в курсе тонкостей новой «совковой» культуры и её новояза. А подарила она мне не что иное, как Библию, то есть «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». Она и сейчас передо мной. Издатель: «Объединённые библейские общества», Нью-Йорк, Женева и Лондон. Тексты «канонические» и перепечатаны с Синодального издания. А год издания не указан. Наверно, потому, что книга вечная и неизменная. Правда, на внутренней обложке проштамповано: БЕСПЛАТНО. Думаю, подарок этот несёт на себе и посылно выполняет ту самую «Миссию русской эмиграции», о которой так пламенно говорил Иван Бунин.

Этот подарок запал мне в душу ещё и потому, что, в отличие большинства «совков», это не была моя первая встреча с Библией. Во-первых, в 1944 году мои родители благостно крестили меня, хотя и тайно, но пользуясь тем, что решение Сталина вернуть Патриархат давало хоть какое-то оправдание. И это я уже описал в своих «шведских» мемуарах по-русски в книге «Когда я родился. Генезис инакомыслия».

Во-вторых, в Библию я уже заглядывал, когда проходил обзорный курс о религиозных верованиях в истории человечества. Курс вёл заведующий кафедрой этнографии профессор Сергей Александрович Токарев (1899–1985). Он настоятельно рекомендовал нам «хотя бы взглянуть на первоисточники». Что я прилежно и сделал. Правда, для этого надо было получить специальный пропуск в аспирантскую библиотеку МГУ на ул. Карла Маркса (сейчас она опять Моховая).

В Лундском университете

Получив должность экстренного иностранного преподавателя русского языка и литературы, я наконец-то получил возможность и в шведском практиковаться, и углубиться в русскую литературу. Прежде всего, хотелось почитать стихи запрещённого в СССР певца Музы Дальних Странствий Николая Степановича Гумилёва (1886–1921). В годы «оттепели» среди студентов МГУ ходили восторженные слухи о нём, но стихи его в самиздате появлялись лишь на разрозненных машинописных страницах. Прочитав одно или два, я сразу же проникся его героическим благородством. Привлекал тот факт, что он был убит, как Пушкин и Лермонтов, только во сто раз хуже.

Мне не казалось важным, участвовал ли он в Деле Таганцева или нет. Ясно было одно: он был убит за ПРАВОЕ ДЕЛО, ибо объективно, даже оставаясь вне политики, он тормозил «Левый марш» страны в пропасть произвола и насилия.

Что значила Швеция для Николая Гумилёва

Попав в Швецию, я первым делом набросился на один эмигрантский сборник его стихов и сразу же напал на цикл стихотворений, посвящённых Швеции. Вот одно, ключевое, так и называется:



ШВЕЦИЯ

Страна живительной прохлады,
Лесов и гор гудящих, где
Всклокоченные водопады
Ревут, как будто быть беде.

Для нас священная навеки
Страна, ты помнишь ли, скажи,
Тот день, как из Варягов в Греки
Пошли суровые мужи?

Ответь, ужели так и надо,
Чтоб был, свидетель злых обид,
У золотых ворот Царьграда
Забыв Олег медный щит?

Чтобы в томительные бреды
Опять поникла, как вчера,
Для славы, силы и победы
Тобой подъятая сестра?

И неужель твой ветер свежий
Вотще нам в уши сладко выл,
К Руси славянской, печенежьей
Вотще твой Рюрик приходил?

https://slova.org.ru/gumilev/shvetsiya_strana/

Варяжская концепция русской истории задела мои историософские струны. Ещё по школьным учебникам меня увлекал приключенческой романтикой «путь из варяг в греки». Этой концепции придерживался и мой научный руководитель на историческом факультете МГУ профессор Михаил Владимирович Витов (1923–1968). Я участвовал в нескольких этнологических и антропометрических экспедициях под его руководством: от Белоруссии и Украины на западе до просторов Русского Севера – от Великого Устюга, Княжпогоста и Потьмы до Соликамска и Перми. Более того, он же познакомил нас с теорией проникновения викингов не только к Царьграду на юге, но и до Уральских гор и Перми на востоке, и что якобы сам этноним «пермь», попал не только в русскую «Повесть временных лет», но и в исландские саги, как *Viarmaland*, то есть «страна Беармия».

Вопросительный призыв к русским в последней строфе «Швеции» Гумилёва всегда отзывался благодатным эхом в русской душе. Тут и желание проплыть по «пути из варяг в греки» до самого Царьграда. Тут и признание Петра Великого, что в жестоких битвах на суше и на море мы учились военному искусству у шведов. Вероятно, и теперь судьбоносный вопрос поэта – не вотще ли к нам Рюрик приходил? – берedit не одну отзывчивую русскую душу. Неслучайно Николай Оцуп (1894–1958), один из первых исследователей творчества Гумилёва, находил важной для поэта веру, что именно варяги принесли на Русь «внешнюю организующую силу».

«Иван Денисович» открывает Новый Мир

Порадовал меня Лунд и богатой университетской библиотекой, где я сразу же разыскал журнал «Новый мир» № 11 за 1962 год, чтобы прочитать там сенсационную повесть некоего нового советского писателя, о которой узнал из шведских газет. Это был «Один день Ивана Денисовича» неизвестного автора и даже бывшего зэка Александра Исаевича Солженицына. Мало сказать, что

повесть мне понравилась. Это был голос не мальчика, а мужа, который многое уже сказал, но сдерживал себя, чтобы суметь сказать в будущем и больше, и острее. Поскольку его повесть вышла в ноябре 1962 года, когда я уже оформлялся на побывку в Швеции, это показалось мне судьбоносным.

А я открываю Америку: от Чикаго до Сиэтла на гончей собаке!

Летом 1965 года я получил стипендию на один год при Славянском комитете Чикагского университета (University of Chicago). Накануне нового, 1966-го я был уже в Чикаго. В мои обязанности входило общаться со студентами и преподавателями на русском языке. А для этого надо было почаще ходить на любые лекции о России и СССР. То есть я был в свободном плавании, чем я и воспользовался. Кроме специальных разговорных уроков по-русски с полудюжиной студентов, ходил на лекции по русской истории и литературе, которые велись по-английски. Это была блестящая возможность расширять мои элементарные пассивные познания в английском, слушая лекции на знакомые мне темы. И это было важно, ибо, хотя мне в Швеции нравилось, я чувствовал, что за три года я освоил страну достаточно, чтобы опять поклониться Музе Дальних Странствий и отправиться на очередное «хождение за три моря».

Весной 1966 года я повёлся на рекламу компании маршрутных автобусов Greyhound (гончая собака). Предлагалось купить за 99 долларов единый билет на путешествия по всем штатам в течение 99 дней. Поскольку на летние каникулы у меня не было никаких обязательств перед студентами, осмотреть за лето всю страну за 99 долларов показалось мне идеальным вариантом. Что я и сделал: я объехал всю страну чуть не дважды. Побывал в Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Монтерее, Лас-Вегасе, Денвере, Новом Орлеане, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне и, конечно, в Нью-Йорке. Не только ради туристического любопытства. Моя главная задача была – подобрать университет, в котором я мог бы продолжить свою карьеру.

Выбор пал на Вашингтонский университет (University of Washington) в городе Сиэтле в штате Вашингтон. В других университетах я мог устроиться преподавателем русского языка, ибо потребность в таковых была высока из-за обострения в Холодной войне. В Сиэтле же меня привлёк вариант, когда я мог учиться в аспирантуре и одновременно преподавать несколько часов русского языка в неделю, чтобы быть в состоянии платить за учёбу. Мой советник в Чикаго порекомендовал пару профессоров политологии и русской литературы в Сиэтле, у которых было чему поучиться. Сиэтл привлёк меня близостью к Канаде и Аляске, прекрасным видом на великолепную гору Рэйнир, зелёным и мягким климатом и горнолыжными базами. А ещё Сиэтл славится статуей крестителя Гренландии и первооткрывателя Америки Лейфа Эриксона (970–1020), установленной здесь ещё в 1962 году. И – что было символично – он был удалён от родной Перми ровно на половину Земного Шара, и Пермь была одинаково близка, ехать ли дальше на Запад или вернуться на Восток! Я очию убедился, что Земля круглая.

Платиновый век русской поэзии

Одним из моих профессоров стал д-р Юрий Павлович Иваск (1907–1986), русский белоэмигрант, некогда проживавший в Эстонии, получивший докторат в Гарвардском университете за диссертацию о поэте Вяземском. Он и сам был поэтом, но себя не выставлял. Лекции вёл по-английски, ибо большинство студентов русского языка не знало, интересуясь лишь литературой. Главным учебником была «История русской литературы с древнейших времен по 1925 год» князя Дмитрия Святополка-Мирского (1890–1939). Она была переведена на многие языки, в том числе английский. Хотя автор был и князь, даже Рюрикович, и сражался в гражданской войне на стороне белых, в эмиграции он начал симпатизировать сначала евразийству, потом и коммунизму. В 1932-м вернулся в Советскую Россию, но в 1937-м был арестован и обвинён в шпионаже, а в 1939-м погиб на ГУЛАГе в Магадане. Реабилитирован в 1963 году, наверно, не без помощи «Ивана Денисовича», который сделал замалчивание ГУЛАГа невозможным.

Д-р Иваск хорошо знал русскую литературу Серебряного века. Он так восхищался ею, что предлагал переименовать её в «Платиновый Век». Сам поэт, Юрий Павлович высоко ценил творчество Гумилёва. Но его любимцем был Иннокентий Анненский (1855–1909), поэт-символист, которо-

го Иваск ставил в один ряд с Тютчевым и Блоком. Будучи директором Царскосельской гимназии, в которой учился Гумилёв, Анненский благосклонно относился к начинающему поэту!

И опять Струве

Что касается современной русской литературы советского периода, главным учебником была книга Глеба Петровича Струве (1898–1985) «Истории русской советской литературы». Профессор Струве преподавал русскую литературу в Калифорнийском университете в Беркли. Но иногда приезжал с лекциями в Сиэтл. Его познания были обширны. Именно он подготовил к изданию труды Б. Пастернака, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Н. Заболоцкого, Н. Клюева. Издал письма М. Цветаевой с комментариями. Подготовил к печати и опубликовал «Лебединый стан», «Перекоп» М. Цветаевой и «Реквием» А. Ахматовой. И – что особенно важно – опубликовал книгу «Неизданный Гумилёв».

Однажды, узнав, что я родом из Перми, он вдруг потеплел и спросил: «А сохранился ли дом губернатора Струве в Перми?» Я рот разинул: «Какого губернатора? Какого Струве?» Единственный Струве, которого нам полагалось знать, был тот бывший легальный марксист, которого Ленин заклеил «социал-предателем». «Нет, губернатором Перми был мой дедушка Бернард Васильевич Струве (1827–1889, а мой отец родился в Перми, но именно его Ленин невзлюбил». Я обещал ему разузнать в «будущем» о судьбе дома губернатора в Перми, и у нас завязалась дружеская переписка. «Будущее» наступило сразу после Августовского путча в 1991-м, когда я впервые вступил на Пермскую землю после 29 лет добровольного изгнания. Я дождался, а Глеб Петрович скончался в 1985-м, так и не дождавшись посмертной реабилитации своих предков. Позднее центральная улица Карла Маркса в Перми стала опять Сибирской, а на вновь покрашенном бывшем доме губернатора Струве появилась достойная мемориальная табличка.

Когда приспело время писать магистерский тезис, то читатель едва ли удивится, что он был посвящён Николаю Степановичу, певцу Музы Дальних Странствий. Озаглавлен он был по-английски “Gumilev’s Late Poetry”. Вопреки мнению некоторых литературоведов, что, якобы, акмеизм как особое литературное течение, основанное Гумилёвым в 1911 году, так и не сумел обособиться от символизма и стал сходить на нет даже в поздних стихах самого основателя. Я же старался показать на примерах стихов его сборника «Огненный столп», что и при Советах Гумилёв остался верен тем принципам, которые он провозгласил в 1911-м. Разумеется, ситуация в России после революции 1917 года изменилась радикально для России вообще и для самого Гумилёва в особенности. Но поэт не сдал своих позиций, как гражданских, так и творческих.

Более того, находясь в 1917 году во Франции с военной миссией по поручению Временного правительства, он легко мог остаться за границей, когда после большевистского переворота офицеры попали под надзор, а то и под обстрел чекистов. «В Африке я охотился на львов, а большевики не могут быть такими свирепыми», – говаривал Гумилёв. И вернулся в Советскую Россию в апреле 1918-го, чтобы возродить «Цех поэтов» и учить молодое поколение россиян как искусству стихосложения, так и мужественно жизнеутверждающему отношению к жизни вообще, то есть учил начинающих поэтов философии акмеизма. Наиболее ярко его дело в СССР продолжал его сын Лев Николаевич Гумилёв (1912–1992) – разумеется, не в поэзии, а в создании историософской концепции *пассионарности*! А его бывшая жена Анна Ахматова (1889–1966) и единомышленник Осип Мандельштам остались верны поэтическим идеалам акмеизма даже под хомутом «социалистического реализма».

Безотносительно к его роли в Таганцевском заговоре, слово Гумилёва не расходилось с делом. Неслучайно одну из лучших книг о нём автор Юрий Зобнин назвал «Слово и дело».

Николай Гумилёв жил, и писал, и погиб, стоя во весь рост. И в этом он был достойным наследником Пушкина и Лермонтова. Как писал первый:

Есть упоение в бою,
И страшной бездны на краю.

В отличие от его предшественников, Гумилёв сознавал перед расстрельным Маузером, что и его Родина стояла на краю бездны.



При всём восхищении Гумилёвым, магистерский тезис был последним, что я о нём написал в 1968-м. В это время фигура Солженицына всё ярче всплывала на горизонте и высвечивала идейную борьбу как в СССР, так и на Западе. После магистерской я включился в докторскую программу и сразу же решил писать о релеванности Солженицына, его для сего дня и для всего мира. Но какой выбрать подход, чтобы сказать о нём самое главное по-английски, то есть для западного читателя? Однажды я прочитал в новостях, что ещё в 1967 году ставший опальным в СССР писатель дал интервью о своём творчестве какому-то словацкому журналисту, ибо у советских он был уже не в чести. Журнал оказался *Kultúrny život* в Братиславе. Журналист Pavel Licko, а статья называлась “*Jedneho dna u Alexandra Isadevica Solzenicyna: Literna tvorba a umelecke nazory*” и датирована 31 марта 1967 года.

Вот самая важная часть интервью. *«Какой жанр я считаю наиболее интересным? Полифонический роман, чётко определённый по времени и месту. Роман без главного героя. Если роман имеет главного героя, автор неизбежно уделяет ему больше внимания и отводит больше места. Каким образом я понимаю полифонию? Каждый человек становится главным героем, как только действие переносится на него. Тогда автор чувствует себя ответственным за всех тридцать пять героев. Он не оказывает предпочтения ни одному из них. Он должен понимать каждого персонажа и мотивировать его действия. В любом случае, он не должен терять почвы под ногами. Я применил этот метод при написании двух книг, и я намерен использовать его при написании третьей».*

Назвав свой «любимый жанр» и «метод» полифоническим, Солженицын придал этому понятию исключительное значение для понимания своего творчества. Он применил именно полифонический метод в романах *«Раковый корпус»* и *«В круге первом»*, которые я уже прочитал и по-русски и в английском переводе. Третий роман создавался им как цикл о революции, первый «узел» которого был назван *«Август Четырнадцатого»*.

Хотя Солженицын не упомянул в интервью словацкому журналисту ни Достоевского, ни Михаила Бахтина (1895–1975), он явно воспользовался понятием, которое имело широкое хождение среди советских литературоведов после «реабилитации» в 1963-м новаторских исследований Бахтина о *полифонической поэтике Достоевского*. В 1929-м Бахтин был арестован и приговорён за свои взгляды к пяти годам Соловецкого лагеря, заменённого на ссылку в Кустанай и в Калининскую область. Однако его книга 1929 года *«Проблемы творчества Достоевского»* была переиздана в 1963 году как *«Проблемы поэтики Достоевского»*, и понятие полифонический метод прочно вошло в культурный обиход в России и за рубежом.

Между тем популярность Солженицына на Западе набирала обороты. Его романы стали бестселлерами. В 1970-м он был удостоен Нобелевской премии, что означало всемирное признание.

Из докторской вышла книга

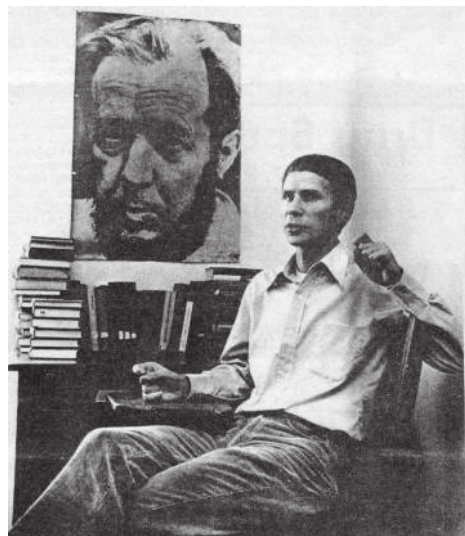
Несмотря на семейные хлопоты и переезд в другой университет (University of Texas), в 1975-м я защитил докторскую диссертацию о применении полифонического метода в романе *«В круге первом»*. Неубывающий интерес к писателю после его изгнания из СССР в 1974 году побудил меня расширить своё исследование на романы *«Раковый корпус»* и *«Август Четырнадцатого»* и превратить его в книгу. В 1979 году она вышла под названием “*Solzhenitsyn and Dostoevsky: A Study in the Polyphonic Novel*”, вышла в издательстве университета штата Джорджия (University of Georgia). В 2012 году её перевод на русский язык *«Солженицын и Достоевский: Искусство полифонического романа»* был опубликован Пермским государственным университетом, и теперь её можно купить или скачать бесплатно на сайте университета.

Сейчас я приглашаю читателя к отрывку из последней – 13-й – главы этой книги, которая называется “*«Август Четырнадцатого» как анти-Толстовский роман»*. Известно, что Анна Ахматова дала

очень высокую оценку творчеству и личности Солженицына, когда он навестил её в конце 1962 года. И Солженицын относился с любовью и восторгом к её поэзии. Хотя они не говорили о Николае Гумилёве, не трудно предположить, что Солженицын был знаком с творчеством Гумилёва и высоко ценил его. Это заметно и в отрывке из моей книги, который я сейчас предлагаю. Именно здесь акмеист Гумилёв скажет своё слово о трагедии революционных помыслов.

*Николай Гумилёв в 13-й главе книги
«Солженицын и Достоевский»*

Солженицын читает с того, что похвально отзывается о поэзии символистов, но только для того, чтобы проиллюстрировать культурную атмосферу того времени. Какую другую функцию в романе выполняют, например, две строфы, приведённые в середине и в конце 57-й главы?



Созидающий башню – сорвётся,
Будет страшен стремительный лёт,
И на дне мирового колодца
Он безумье своё проклянёт.
Разрушающий – будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И, всевидящим Богом оставлен,
Он о смерти своей возопит.

Эти строфы приводятся в главе, где события видятся глазами Агнессы Ленартович (вдовствующей матери Саши Ленартовича) и её сестры Адалии. Это семья революционеров-народников, в которой портрет дяди Александра, совершившего теракт, почитается как икона. По терминологии Бахтина, Солженицын пользуется в этой главе «двуголосым словом» (см. главу 10 этой книги), причём его второй, разнонаправленной разновидностью. Взгляды революционно-настроенных сестёр пародируются. Агнесса недолго любит Елю, новую школьную подругу Вероники, её дочери. По мнению Агнессы, Еля отвлекает Веронику от революционной «ненависти». «То и дело она декламировала (...) своих этих модных поэтов, туманный бред». Так вводятся процитированные выше стихи.

Когда революционные тётушки Агнесса и Адалия упрекают Елю в увлечении «тёмной невинницей» и «кощунством» модных стихов, интерес читателя к стихам только повышается.

Ирония тут в том, что невежественные про-революционные тётушки называют эти стихи «символическим вздором». В самом же деле их автором был известный акмеист Николай Гумилёв, который как раз и осуждал символистов за темноту и туманность их образов. В своей статье «Наследие символизма и акмеизм», опубликованной за год до войны, Гумилёв отверг туманный и декадентский символизм в пользу более чёткого и мужественного АКМЕИЗМА. То, что тётушки сочли стихи Гумилёва за «символистический вздор», больше говорит об их невежестве, чем о поэте. Неспособность отличить акмеистские стихи от символистских намекает на культурную ограниченность тётушек, помешанных на «прогрессивной» революционной политике, включавшей симпатию к террористам.

Две процитированных строфы взяты из стихотворения «Выбор». Написанное Гумилёвым до того, как акмеизм вошёл в обиход читающей публики, оно уже несёт в себе героические, мужественные, «адамические» черты акмеизма. Разумеется, это стихотворение можно назвать и символистским, тем более что Гумилёв считал себя учеником Валерия Брюсова, одного из мэтров символизма. Тем не менее знатоки символизма были бы шокированы тем, что Солженицын в качестве иллюстрации символистских пристрастий юных барышень выбрал акмеиста Гумилёва. Вероятно, помимо иронического намёка на невежество «революционных» тётушек, Солженицын имел и другие причины для выбора этих двух строф.

Не намекает ли первая строфа на историю Библейской Вавилонской башни? Наследники Ноя, размножившиеся и говорившие на разных «языках», в своей гордыне захотели, во что бы то ни

стало, превзойти самого Господа Бога. Чтобы показать своё могущество, они решились на строительство такой огромной Башни, чтобы она поднялась над «старым городом» и «вершина которой достигала бы небес». Но Господь покарал их за высокомерие. Смешав их «языки», он лишил строителей возможности общаться. Посрамив их строительный проект, Господь ещё и рассеял их по всей земле (Быт. 11: 1-9).

У Гумилёва «созидающие башню» претенденты на соперничество с Богом несут ещё более суровое наказание. Как и Библейская, «башня» в поэме Гумилёва «ВЫБОР», *символизирует тщетность попыток современного человека превзойти Создателя*. В контексте русской литературы гумилёвская башня наводит мысль на башню Великого Инквизитора Достоевского, которую атеисты-социалисты старались воздвигнуть под эгидой католической церкви.

Вторая строфа поэмы сначала кажется прямой антитезой к первой, ибо речь теперь идёт о «разрушающем». Однако «разрушающий» герой поэмы разрушает не башню, а «старый город». Ради чего? Да чтобы превратить его в стройплощадку для Новой Башни. Тогда «созидающий» и «разрушающий» не противостоят друг другу, но ставятся на одну доску богоборческих потуг атеистической русской интеллигенции. Поэтому «разрушающий» наказан «всевидящим Богом» не менее сурово, чем «созидающий».

Не содержат ли эти две строфы завуалированного ответа молодых девушек (Вероника разделяет вкусы Ели в поэзии) докучающим им тётушкам-революционеркам? Не сделали ли девушки свой выбор в пользу неучастия в разрушении Российской империи? Не пойдёт ли разрушение «города» на расчистку места для строительства социалистической Вавилонской башни? Тётушки просто не понимают скрытого смысла этого «символистического вздора». Но чувствуют, что «кощунственность» стихотворения направлена на их собственную веру в атеистический социализм.

Две строфы содержат ответ Толстому на его выпад против поэзии в разговоре с Саней Лаженицыным, и сделан он – в соответствии с полифоническим методом романного искусства – от лица его юных современниц. Без этих двух стрóf Ликоня и Вероня (как гимназисты называли Елю и Веронику) остались бы в романе бессловесными и безгласными.

Но не выражают ли эти строфы также и мысли самого автора? Думается, что да. Солженицын специально вставляет их в первый узел, чтобы оттенить идейную направленность всего романного цикла «*Красное колесо*» против большевицкого плана построения Вавилонской башни на обломках «старого мира» Российской империи, разрушенного в огне войны и революции.

Хотя главный упор первого узла эпопеи Солженицына «Красное колесо» направлен на процесс, приведший к разрушению царской России, всего старого мира, или «старого города» в поэме Гумилёва, русский читатель отдаёт себе отчёт, что на горизонте уже маячили планы «созидателей» Богоборческой Башни коммунизма. *Учитывая то, что Солженицын закончил роман на рубеже 1971-го, когда идея коммунизма была в апогее на всей Планете, можно сказать, что его слова и образы, взятые из Гумилёва, его искусство усиливало пророчество поэта-акмеиста.*

[ВСТАВКА: Пророчество оказалось если не буквальным, то очень и очень очевидным. В 1931 году по приказу Лазаря Кагановича был взорван храм Христа Спасителя, построенный в Москве в память о всенародной победе России над Наполеоном. В котловане собирались построить высокую башню Дворца Съездов, увенчанную статуей Ленина. Планы кончились тем, что построили плавательный бассейн под открытым небом. После развала СССР сподобились восстановить храм Христа Спасителя, который теперь и является главным духовным центром Новой России.]

К моменту выхода Первого Узла читатель уже знал, что тысячи самых жестоких разрушителей старого режима, как и наиболее рьяных строителей Новой Башни, стали жертвами массовых репрессий при Сталине. Знал он и то, что позднее, в 1973 году, Солженицын заклеит всю систему как «Архипелаг Гулаг». И хотя в момент написания «узла» «Вавилонская Башня» коммунизма казалась прочнее, чем когда-либо, Солженицын предрёк её падение вскоре после изгнания из своей страны в 1974 году. Наверное, не только ему, но и другим советским диссидентам и объективным западным наблюдателям было очевидно, что «рассеянные по всей земле» коммунисты, будь то в СССР, Китае, Вьетнаме, Камбодже или на Кубе, уже не говорили на одном языке Третьего Интернационала.

Возможно, Солженицын сознательно выдал «анонимные» стихи известного акмеиста за символистские, чтобы отразить путаницу в головах «прогрессивной», а точнее, про-революционной интеллигенции. Но скорее он и сам отдавал ПРЕДПОЧТЕНИЕ АКМЕИЗМУ по сравнению с туман-

ным, субъективным и болезненным символизмом Блока, Брюсова или Бальмонта. Так, символика стихотворения «Выбор» более земная, более мужественная и более жизнеутверждающая. (Неслучайно Солженицын хвалил акмеистку Анну Ахматову за лаконичность и плотность её образов.)

Вот две заключительные строфы этого стихотворения, которые Солженицын не поместил в роман:

А ушедший в ночные пещеры
Или к заводам тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки.

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право –
Самому выбирать свою смерть.

Заключительные строфы ещё больше оттеняют трагическое и стоическое мироощущение Гумилёва. Не только два первых выбора, но и желание уйти от выбора, охранить нейтралитет и остаться в стороне неминуемо ведут к трагической смерти. Но само право выбора не ставится под сомнение. Даже уход «в ночные пещеры» или к «заводам тихой реки» есть выбор, хотя и пассивный. Тон поэмы типичен для Гумилёва: он настолько демонстративно мужественный и стоический, настолько в духе ницшеанского сверхчеловека, что критики порой обвиняли его в позёрстве.

Но Гумилёв не однажды доказал, что они ошибались. Когда в 1914-м разразилась война, он – единственный из признанных поэтов – пошёл на фронт добровольцем. Дважды награждённый Георгиевским крестом, высшей наградой за храбрость, он и в окопах писал стоические стихи, отстаивая право «выбирать свою смерть»:

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

В момент захвата власти большевиками в октябре 1917 года он оказался за границей как офицер связи Временного правительства с союзниками Антанты. Он опять сделал мужественный выбор. Заявив, что он охотился в Африке на львов, а большевики не могут быть опаснее, он вернулся в Россию в апреле 1918 года – и ошибся. Летом 1921 года он был арестован якобы за участие в антикоммунистическом заговоре, и 26 августа расстрелян среди других 56.

Обвинения были, вероятно, сфабрикованы. Несомненно, то, что Гумилёв умел делать мужественный ВЫБОР и выполнить взятую на себя миссию до конца. Выбора, который он сделал, нет в поэме. Он не примкнул к «разрушителям» старого режима; не присоединился к «созидателям» Новой Социалистической Башни. Не скрывался он и в темноте, не искал убежища от революции. Он стал обучать юных пролетарских поэтов стихосложению и акмеистическому взгляду на мир, то есть мужественному и жизнеутверждающему.

Таким образом, он получал шанс напомнить пролетарской молодежи как о мудрости «старого города», так и о судьбе Вавилонской башни. Его трагическая смерть, а также тот факт, что он долго не был реабилитирован в СССР, вполне могли подтолкнуть Солженицына на ВЫБОР именно его стихотворения, чтобы ввести в роман одну из важнейших тем исторической судьбы России. Анонимно, но ярко и весомо в своём пророчестве поэт-акмеист Николай Гумилёв присутствует в романе «Август Четырнадцатого» и во всём цикле «Красного колеса» как один из учителей и пророков России.

Включив строфы из поэмы Николая Гумилёва в свой роман, Солженицын показал, что, вопреки мнению Толстого, искусство прозы сродни искусству поэзии. Во всяком случае, они не являются пересекющимися прямыми, какими их воображал Толстой. Словесное искусство в обоих наполнено смыслом. Но, в отличие от художественного метода Толстого, особенно его историософских монологических глав, этот смысл не подаётся читателю на блюдечке, но может быть угадан его собственным творческим усилием: или интуитивно, или в соответствии с его интеллектом и воображением.

Мой интерес к Солженицыну не ограничился его художественным творчеством. В свою следующую книгу, “Russia Beyond Communism: A Chronicle of National Rebirth”, которая вышла за несколько месяцев до развала СССР, я включил анализ его статей и публицистических сочинений, в том числе «Письмо советским вождям» и «Как нам обустроить Россию». Эти его статьи задавали тон всей книге, в которой я представил широкий диапазон «голосов гласности», которые звали к посткоммунистическому будущему. Я успел подарить свежий типографский экземпляр Борису Ельцину сразу после подавления путча ГКЧП в августе 1991 года.

По существу это была та самая полифония разных мнений, а иногда и диалог противоположных мнений, которые лежали в основе художественного метода Солженицына, как и Достоевского. Я старался представить широкий спектр советских и эмигрантских авторов, и главным критерием для отбора был патриотизм как любовь к родине, без деления людей на классы, идеологии, религии или этнические группы. Единственное исключение было для авторов, которые произносили ПАТРИОТИЗМ как ПАРТИОТИЗМ, то есть с упором на партийную исключительность. В 2014-м книга была переведена на русский и напечатана под названием «Новая Россия: от коммунизма к национальному возрождению» в Москве в издательстве «Литературная Россия».

Осенью 2018-го мне посчастливилось участвовать в праздновании 100-летия со дня рождения Солженицына как в США, так и в России. Сначала была международная научная конференция в Северном Вермонтском университете, с посещением дома Солженицыных в Кавендише, что было особенно памятно для меня, поскольку я побывал там ещё в 1979-м. Потом был торжественный вечер в Государственной библиотеке в Москве с участием Натальи Дмитриевны Солженицыной. Памятным было и посещение выставки «Солженицын и журнал “Новый Мир”». Там мне особенно запомнился стенд с воспоминаниями Анны Андреевны Ахматовой о писателе:

«Вошёл викинг. И что вовсе неожиданно, и молод, и хорош собой. Поразительные глаза. Я ему говорю: “Я хочу, чтобы вашу повесть прочитали двести миллионов человек”. Кажется, он с этим согласился. Я ему сказала: “Вы выдержали такие испытания, но на вас обрушится слава. Это тоже очень трудно. Готовы ли вы к этому?” Он отвечал, что готов. Дай Бог, чтобы так» (цитируется по Давиду Эйделману <https://davidaidelman.livejournal.com/656757.html>).

Именно такими словами описал эту встречу Лев Копелев, друг писателя, с которым они вместе работали на шарашке. Это была первая из двух встреч Солженицына с Анной Ахматовой. Произошла она осенью 1962 года вскоре после опубликования его повести «Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир». Думаю, она сказала бы то же самое о других романах Солженицына.

А в память о невинно убиенном Николае Степановиче хочется сказать словами его собственного стихотворения «ПАМЯТЬ»:

Я – угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

Думаю, что многие русские люди за рубежом, выполняющие по заветам Ивана Бунина *Миссию русской эмиграции*, откликнулись бы на зов Гумилёва словами самого эрудированного поэта-символиста и одного из первых «невозвращенцев» Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949):

Там, где соборно
Строят незримо
Храм,
Там и корни
Руси родимой.